

# Глава XIV

Уличные митинги в Америке редки, атмосферу на них накаляет ожидание стычек с полицией. В Англии всё по-другому. Здесь выступления под открытым небом — особая традиция. Они вошли у британцев в такую же привычку, как и грудинка на завтрак. В парках и на площадях английских городов звучат самые разнородные идеи. Публика не взвинчена до предела, нет вооружённых полицейских. Чуть поодаль от толпы стоит одинокий бобби<sup>67</sup> — скорее ради приличия: в его обязанности не входит разгонять митинги и избивать людей.

Митинг под открытым небом в парке — центр притяжения народных масс; по воскресеньям туда стекаются так же, как по будням — в кафешантаны<sup>68</sup>. За участие в митингах не нужно платить, к тому же они намного зрелищнее. Тысячные толпы бродят от трибуны к трибуне, будто на деревенской ярмарке — не столько чтобы послушать выступления и узнать что-то новое, сколько чтобы развлечься. На первых ролях тут критиканы, которые с наслаждением пытаются «завалить» выступающего неожиданным вопросом. И горе тому, кто не разгадает намёков этих мучителей или недостаточно быстро найдёт остроумный ответ — он тотчас превратится в сконфуженную, беспомощную мишень для язвительных насмешек. Всё это я поняла, едва не потерпев поражение на своём первом митинге в Гайд-парке.

Я впервые произносила речь на открытом воздухе под безмятежным взором одинокого полицейского... Увы, точно так же спокойно вели себя и в толпе — говорить перед ней было, наверное, не легче, чем карабкаться по скале без единого уступа. Я быстро устала, сорвала голос, но всё же продолжала выступление. И тут публика расшевелилась: со всех сторон меня начали бомбардировать вопросами. Нападение застало меня врасплох, я была сбита с толку и порядком рассержена. Поняв, что потеряла нить рассказа, я разгневалась ещё больше. Вдруг мужчина из первого ряда крикнул: «Не обращай внимания, старушка! Травить оратора у нас — старый добрый обычай». «Добрый, говоришь? — переспросила я. — А мне кажется, что это подло — вот так прерывать говорящего. Впрочем, валяйте себе — только не обижайтесь, если я отплачу вам той же монетой». «Ну-ну, попробуй, голубушка! — кричали в публике. — Продолжай! Посмотрим, на что ты способна!»

Я говорила о том, что политика — институт бесполезный и даже губительный, когда прозвучал первый выстрел. «А разве не бывает честных политиков?» «Если бывают, то я о них не слышала, — отрезала я. — Политики обещают вам рай перед выборами и превращают жизнь в ад после них». «Верно, верно!» — одобрительно кричали мне. Но едва я вернулась к речи — новый удар настиг меня. «Старушка, а почему ты сказала „рай“? Ты веришь, что он существует?» «Конечно, нет, — ответила я. — Это для вас — вы же в него слепо верите». «Так если рая нет, где тогда воздастся беднякам?» — потребовал ответа другой критикан. «Нигде. Если только они не потребуют воздаяния здесь, не отвоюют себе во владение землю». «Даже если бы рай и существовал, обычных людей там бы не потерпели, — продолжала я. — Понимаете, народ столько прожил в аду, что в раю попросту растеряется,

как себя вести. Ангел у райских врат вышвырнет всех вон за нарушение порядка». Перепалка продлилась ещё с полчаса, среди митингующих то и дело раздавались взрывы хохота, наконец, критиканов призвали остановиться и признать поражение, а мне позволили продолжить.

Молва обо мне распространилась быстро: с каждым митингом толпы становились всё больше. Хорошо продавалась анархистская литература, что не могло не радовать местных товарищей. Они хотели, чтобы я осталась в Лондоне: мне многое бы удалось тут сделать. Но я понимала, что выступления под открытым небом не мой стиль: связки не выдерживали такого напряжения, и к тому же мне сильно мешал уличный шум. Кроме того, люди стояли на митингах часами, а потому быстро уставали и раздражались, не могли сосредоточиться и воспринимать серьёзные сведения. Ораторство слишком много значило для меня, и я не могла выставить свой дар на потеху британской публике.

Я знакомилась со многими людьми — это нравилось мне несоизмеримо больше, чем выступать в парках; меня радовал такой рост активности в анархической среде. В Штатах почти все мероприятия организовывали иммигранты, «коренных» анархистов было не так много, а в Англии движение получало поддержку от нескольких периодических изданий. Одним из них было Freedom («Свобода»), среди авторов и сотрудников которого числились воистину талантливые и даже гениальные личности — Пётр Кропоткин, Джон Тернер<sup>69</sup>, Альфред Марш<sup>70</sup>, Уильям Уэсс<sup>71</sup>... В Лондоне издавал Liberty («Вольность») Джеймс Точатти — последователь поэта Уильяма Морриса<sup>72</sup>. Маленькой газеткой The Torch («Факел») занимались две сестры, Оливия<sup>73</sup> и Хелен Россетти — для своих четырнадцати и семнадцати лет они были развиты не по годам как внешне, так и внутренне. Они сами писали статьи, сами делали набор и оттиски. Бывшая детская комната сестёр теперь стала местом встречи иностранных анархистов, в большинстве своём итальянцев, которые подвергались особенно жестоким преследованиям, они находили приют у Россетти, своих соотечественниц. Их дед Габриэль Россетти, итальянский поэт и патриот, в 1824 году был приговорён к смерти австрийским правительством, под властью которого тогда находилась Италия. Габриэль бежал в Англию, обосновался в Лондоне и стал профессором итальянского языка в Королевском колледже. Сын Габриэля Россетти — Уильям Майкл, отец Оливии и Хелен — был известным критиком. Было очевидно, от кого девушки унаследовали революционный настрой и литературное дарование. В Лондоне я много времени провела в их доме, где царила изумительно гостеприимная атмосфера.

В группу The Torch входил Уильям Бенэм, известный под прозвищем «мальчик-анархист», он увивался вокруг меня, то и дело предлагая своё сопровождение в поездках по городу и на митинги.

Анархистская работа в Лондоне велась не только местными товарищами — Англия была гаванью для беженцев со всего света, которые беспрепятственно продолжали здесь трудиться на благо Дела. В сравнении со Штатами политическая свобода Британии виделась едва ли не вторым пришествием. Впрочем, с экономической точки зрения островное государство намного отставало от Америки.

Я сама одно время бедствовала и видела, как бедно живут огромные промышленные центры в Штатах, но никогда раньше не сталкивалась с таким запустением, как в Лондоне, Лидс и Глазго. Вид этих городов порастил меня до глубины души: он не был следствием каких-то недавних потрясений, он сохранялся веками! Нищета крепко въелась в характер английского народа. Вот обыденный и страшный пример: толпа взрослых, работоспособных мужчин бежала за извозчиком несколько кварталов — каждый из них хотел первым открыть дверь «джентльмену» в повозке. За такую услугу они получали пенни — два, если повезёт. Прожив в Англии месяц, я поняла, почему границы политических свобод здесь так широки — они были отдушиной в ужасающей бедности. Британское правительство, вне всякого сомнения, отдавало себе отчёт: пока гражданам позволено «выпускать пар» в непринуждённых беседах, восстания не будет. Другого объяснения инертности народа и его равнодушия к рабским условиям жизни я найти не могла.

Я изначально планировала познакомиться в Англии с выдающимися деятелями анархического движения. К сожалению, я не застала в Лондоне Кропоткина, но до моего отъезда он должен был вернуться. Мне удалось разыскать Эррико Малатеста; он жил за своим магазинчиком. Увы, я не знала итальянского и не нашлось никого, кто мог бы переводить мою речь. Но Эррико принимал меня с доброй улыбкой, и я почувствовала, что мы близки по духу; казалось, что нашему знакомству уже много лет.



Эррико Малатеста

По приезде я почти сразу встретила с Луизой Мишель — французские товарищи, у которых я остановилась, устроили приём в моё первое воскресенье в Лондоне, с Луизой в числе почётных гостей. Читая о славном начале и ужасном конце Парижской коммуны, я особо выделяла для себя фигуру Мишель — с её возвышенной любовью к человечеству и храбростью, достойной безмерного уважения... Худощавая и угловатая Луиза, выглядела намного старше своих лет (в ту пору ей было всего шестьдесят два), но её глаза были исполнены сиянием молодости, а нежная улыбка мгновенно покорила моё сердце. Эта женщина выжила в дикой бойне — гнев толпы потопил Коммуну в крови рабочих и усталал улицы Парижа тысячами убитых и раненых. Смерть протянула руки и к Луизе, но Мишель играла с ней не раз; на баррикадах Пер-Лашез, последнего оплота коммунаров, Луиза выбрала одну из опаснейших ролей. На суде она требовала себе того же приговора, какой вынесли её товарищам, не желая получить снисхождения по половому признаку. Она умерла бы ради Дела. То ли из страха, то ли из благоговения перед столь героической

особой кровожадная буржуазия Парижа не посмела убить Луизу — её осудили на медленную смерть в Новой Каледонии. Но они не представляли, до каких пределов могут простираться стойкость и самоотверженность Луизы Мишель, её желание прославить подвиг растерзанных товарищей. В Новой Каледонии она дарила ссыльным надежду и вдохновение, ухаживала за их телами во время болезни, а в минуты уныния врачевала и дух. Когда коммунарам была вынесена амнистия, Луиза среди прочих вернулась во Францию — и народ провозгласил её своим кумиром. Люди обожали свою *Mère Louise, bien aimée*<sup>74</sup>.



Луиза Мишель

Возвратившись из изгнания, Луиза первым делом возглавила шествие безработных к эспланаде Дома Инвалидов<sup>75</sup> — тысячи людей не могли найти работы и голодали. Луиза повела процессию в пекарни, её арестовали и приговорили к пяти годам заключения. В суде она отстаивала право голодного на хлеб, даже если его придётся «украсть». Но страшным ударом для Луизы в ходе суда стал не приговор, а смерть матери, которую она любила беззаветно, — Мишель заявила, что с этой поры ей не для чего жить, кроме как для революции. В 1886 году Луизу помиловали, но она отказывалась принять от государства эту «подачку» — её пришлось силой выводить из тюрьмы.

На большом митинге в Авре кто-то дважды выстрелил в Луизу во время выступления. Одна пуля прошла сквозь шляпу, другая оставила рану за ухом. Луиза без единой жалобы вынесла болезненную операцию — всё это время она сокрушалась, что несчастные питомцы остались дома одни, а подруга ничего не знает о случившемся и ждёт её в соседнем городе... Мужчину, стрелявшего в Луизу, подтолкнул к такому поступку священник. Луиза делала всё возможное, чтобы её несостоявшегося убийцу освободили: она уговорила известного адвоката стать защитником своего обидчика, а потом сама появилась на судебном заседании и просила за него. Сочувствие в ней пробудила маленькая дочка мужчины — непростительно было бы оставить её без отца. Позиция Луизы поразила даже самого преступника.

Луиза должна была участвовать в большой забастовке в Вене, но её сняли прямо с поезда на Лионском вокзале. Член Кабинета, ответственный за убийство рабочих в Фурми, разглядел в Луизе серьёзного противника и всеми силами старался вывести её из игры — сейчас он требовал, чтобы Мишель поместили в сумасшедший дом, поскольку она невинна и опасна. Узнав об этом злодейском плане, товарищи Луизы стали уговаривать её переехать в Англию.

В жёлтой прессе Мишель представала диким зверем — «La Vierge Rouge»<sup>76</sup>, без капли женственности и обаяния. Более серьёзные издания писали о ней сдержаннее: они боялись Луизу и ощущали в ней некую силу, которую не могли до конца постичь своими пустыми сердцами и душами. Я сидела рядом с Луизой на нашем первом митинге и недоумевала, как можно не разглядеть её очарования. Она на самом деле мало заботилась о внешности; мне никогда не приходилось видеть женщину, настолько равнодушную к самой себе — потрёпанное платье не по размеру, ветхая шляпа... Но всё существо Луизы было пронизано внутренним светом. Люди легко поддавались её лучезарным чарам, их покоряла её стойкость в сочетании с детской простотой характера. День, проведённый с Мишель, стал в моей жизни исключительным событием. Рука Луизы в моей руке, нежная тяжесть её ладони на голове, искренние дружеские слова открыли мою душу — она потянулась к тому миру красоты, в котором обитала Луиза.

Я выступала на крупных митингах в Лидс и Глазго и познакомилась там со многими активными, самоотверженными рабочими. Вернувшись, я получила письмо от Кропоткина: он приглашал меня в гости. Наконец я могла осуществить свою давнюю мечту — встретить великого учителя!

Пётр Кропоткин был прямым потомком Рюриковичей, а значит — прямым наследником российского трона. Но ради помощи человечеству он отказался от титула и богатств. Кропоткин пожертвовал не только ими: став анархистом, он отказался от научной карьеры и полностью посвятил себя анархистской философии. Он стал самым выдающимся теоретиком анархо-коммунизма; и друзья, и враги безоговорочно признавали его одним из величайших умов и уникальных личностей XIX века. Я очень волновалась по дороге в Бромли, где жили Кропоткины: мне казалось, что Пётр слишком поглощён высокими материями и сблизиться с ним будет непросто.

В обществе Кропоткина я расслабилась уже в первые пять минут: семья была в отъезде, а сам Пётр принимал меня с таким радушием, что я почувствовала себя как дома. Он сразу поставил завариваться чай и пригласил в свою столярную мастерскую — взглянуть на вещи, сделанные им собственноручно. Пётр отвёл меня в кабинет и с большой гордостью показал стол, скамью и несколько полок, которые смастерил сам. Вещи были очень простые, но он ценил их больше прочих: они олицетворяли труд, а он всегда ратовал за совмещение умственной активности с физическим трудом. И вот он личным примером демонстрировал, как гармонично можно сочетать их. Ни один ремесленник не смотрел с такой любовью и глубоким уважением на свою работу, как учёный и философ Пётр Кропоткин. Его гордость за продукты личного труда олицетворяла и горячую веру в массы, их способность менять жизнь по своему усмотрению.

За чаем Кропоткин расспрашивал меня о жизни в Америке, о движении, о Саше — он был искренне озабочен его судьбой и вникал во все подробности судебного процесса. Я поделилась своими впечатлениями об Англии, прежде всего, о покорной нищете, сохранявшейся при таком уровне политической свободы. «Народу бросили её как кость, чтобы утихомирить», — сказала я. Пётр согласился с моим наблюдением. Он добавил, что англичане — нация продавцов: они торгуют, но не производят порой самого необходимого. «У британской буржуазии есть все основания бояться недовольства масс, и политическая вольность в этом случае — лучшая защита, — продолжал он. — Английские политики хитры, они всегда держат политические поводья ослабленными. Британскому обывателю нравится думать, что он свободен — так он забывает о нищете. В этом вся ирония жизни здешнего рабочего класса. И всё же Англия могла бы прокормить каждого своего мужчину, женщину, ребёнка, если бы гнилая аристократия освободила огромные плодородные земли». Встреча с Кропоткиным убедила меня, что подлинное величие всегда идёт рука об руку с простотой. Пётр воплощал в себе обе черты: светлый и гениальный ум сочетался в нём с доброй душой.

Мне было жаль покидать Англию: за время своего короткого визита я подружилась со множеством людей и обогатилась духовно, познакомившись с великими деятелями анархизма... Дни, проведённые здесь, были поистине чудесны. Я никогда не видела такой сочной зелени, изобильного цветения, как в местных садах и парках. Вместе с тем я никогда не видела и столь безысходной, гнетущей бедности. Сама природа, казалось, была для богатых и бедных разной. В Хэмпстеде небо ясно-голубое, а в Ист-Энде — грязно-серого цвета с бледно-желтым пятном на месте солнца. Контраст между социальными слоями в Англии был ужасающим. Я ещё больше укрепилась в своём решении бороться против несправедливости и работать ради идеала. Очень не хотелось тратить время на обучение сестринскому делу, но я утешала себя тем, что вернусь в Америку с прекрасным опытом.



Учёба начиналась 1 октября. Остаться в Лондоне я не могла — нужно было ехать в Вену.

Вена оказалась ещё более восхитительной, чем можно было предположить по рассказам Эда. Рингштрассе — главная улица с прекрасными старыми особняками и роскошными кафе, широкие бульвары, обрамлённые стройными деревьями... Особую красоту придавал городу Пратер — больше даже лес, чем парк. Венские жители были радушны и беспечны; Лондон в сравнении с этим городом мог показаться могилой. Меня окружали яркие краски; я жаждала стать частью кипящей жизни Вены, остаться навсегда в её щедрых объятиях, сидеть в кафе на Пратере и наблюдать за прохожими. Но я приехала с другой целью, не было времени отвлекаться.

Кроме курса по акушерству я занималась изучением детских болезней. За короткий опыт работы я увидела, насколько большинство квалифицированных медсестёр не приспособлены к заботе о детях: они были суровыми и властными, им не доставало сочувствия. Когда-то по этой причине моё детство превратилось в ад, но именно поэтому теперь я ощущала детскую боль как свою собственную. Для ребёнка у меня находилось больше терпения, чем для любого взрослого: меня всегда глубоко трогало, как одиноки малыши в своей болезни, как им нужна поддержка. Теперь я хотела не только сочувствовать им, но и правильно ухаживать за ними.

Курсы Allgemeines Krankenhaus давали прекрасные возможности для развития усердным и любознательным студентам. Это выдающееся учреждение было самым настоящим городом, который населяли тысячи пациентов, сестёр, докторов и опекунов. Отделениями заведовали всемирно известные светила медицины. Акушерские курсы возглавлял известный гинеколог, профессор Браун — это оказалось большой удачей: он не только великолепно преподавал, но и был очень милым человеком. Ни одна из его лекций не проходила формально и скучно. Посреди объяснений и даже во время операции герр профессор мог разрядить обстановку острым замечанием, от которого пунцовели щёки немецких студенток. Например, объясняя причины высокого уровня рождаемости в ноябре и декабре, он говорил: «Девушки, во всём виноват карнавал. Во время самого весёлого венского фестиваля даже самые добродетельные девушки попадают в сети обольстителей. Я не хочу сказать, что они проще поддаются инстинктам — просто природа делает их очень способными для зачатия. Мужчине, можно сказать, достаточно взглянуть на них, и они беременеют. Так что нужно во всём винить Природу, а не юных бедняжек». Многих высоконаравственных студентов Браун приводил в ужас историей осмотра одной пациентки. Несколько учащихся попросили поставить ей диагноз; один за одним они выполнили задачу, но никто не отважился высказаться — все ждали вердикта профессора. После осмотра этот великий человек сказал: «Господа, это заболевание, которое большинство из вас уже перенесли, либо вы страдаете от него сейчас, или же пострадаете в будущем. Единицам удаётся противиться очарованию его источника, а после выдержать его развитие и излечиться без последствий. Это сифилис».

Среди слушательниц акушерских курсов оказалось много евреек из Киева и Одессы, а одна девушка даже приехала из Палестины. Все они плохо говорили по-немецки и с трудом понимали лекции. Русским девушкам приходилось жить впроголодь — на каких-то десять рублей в месяц. Меня вдохновляло подобное упорство в освоении профессии, но, когда я

открыто выразила своё восхищение, девушки ответили, что это обычное дело: тысячи русских — и евреев, и гоев — живут так. Все студенты за границей бедствуют, но всё же не умирают. «А что же с немецким? — возразила я. — Вы же не понимаете ни лекций, ни учебников. Как тут сдать экзамены?» «Справимся как-нибудь. Любой еврей хоть что-то, да понимает по-немецки». Я особенно симпатизировала двум девушкам, которые ютились в жалком углу. Я же располагала большой красивой комнатой и пригласила их жить вместе. Вскоре нам предстояло ходить на ночные смены в больницу, но, по всей видимости, не одновременно. Совместное проживание позволило сократить расходы обеих сторон, вдобавок я помогала подругам с немецким. Вскоре наше жилище стало местом сбора русских студентов обоих полов.

В Вене меня знали как миссис Э. Г. Брейди — под настоящим именем меня бы попросту не пустили. Пришлось преодолеть свою предубеждённость по поводу псевдонимов. Тогда паспорта выдавали по запросу; конечно, можно было раздобыть документы на фамилию Кершнер, но я не пользовалась именем бывшего мужа с момента разрыва; с тех времён я видела Якова лишь однажды, в 1893 году, когда лежала в Рочестере больной. Любое воспоминание о нём было болезненным. Брейди — ирландская фамилия — не должна была вызвать лишних подозрений.

В Вене мне приходилось вести себя чрезвычайно осторожно. Страной правили деспотичные Габсбурги, социалисты и анархисты сурово преследовались. Я не могла встречаться с товарищами в открытую под страхом депортации. Невзирая на все препятствия, я сумела познакомиться со многими интересными людьми — активистами различных общественных движений.

Учёба и частые ночные смены не изжили во мне интереса к венской культуре, музыке и театрам. Я познакомилась с молодым анархистом Стефаном Гроссманом — он знал обо всём, что происходит в городе. Многие в Стефане мне не нравились: он силился скрыть своё происхождение, перенимая без разбору все глупые гойские привычки. Когда мы впервые встретились, Гроссман сказал, что учитель фехтования восхищается его *germanische Beine*<sup>77</sup>. «Не думаю, что это комплимент, — ответила я. — Если бы он восхищался твоим еврейским носом — тут было бы чем хвалиться». Но Гроссман часто навещал меня, и постепенно я приноровилась общаться с ним. Он был страстным книголюбом и горячим поклонником новой литературы — Фридриха Ницше, Генрика Ибсена, Герхарта Гауптмана, Гуго фон Гофмансталя — всех, кто предавал анафеме старые устои. Некоторые отрывки доводилось читать и мне в *Der Arme Teufel* («Бедняга») — еженедельной газете, которую издавал в Детройте выдающийся писатель Роберт Райцель. Она, единственная в Штатах, давала читателям возможность оперативно узнавать о новых литературных веяниях Европы. Те фрагменты работ великих умов, которые видела я, только подогрели мой интерес.

В Вене можно было попасть на интересные лекции о современной немецкой прозе и поэзии, ознакомиться с работами молодых иконоборцев литературы. Едва ли не самым дерзким из них был Ницше. Его магический стиль и блистательная концепция возносили меня до небес. Я бы с жадностью глотала каждую его строчку, если бы хватало денег на книги. К счастью, Гроссман собрал недурную коллекцию работ Ницше и других современников.

Я читала, вместо того чтобы отсыпаться после тяжёлых будней, но что было физическое напряжение в сравнении с упоительным Ницше? Его пламенная душа через книги обогащала мою жизнь, делала её прекраснее и осмысленнее. Я хотела поделиться новым сокровищем со своим любимым и отправляла ему длинные письма, где описывала новый мир, открывшийся передо мной. Эд отвечал уклончиво — судя по всему, он не разделял моей страсти к новому искусству. Его больше интересовали моя учёба и здоровье, и он уговаривал меня не тратить силы на праздное чтение. Я расстроилась, но утешала себя мыслью, что он оценит революционный дух новой литературы, когда познакомится с ней сам. Я решила, что нужно накопить денег на собрание книг для Эда.

Через одного студента я узнала о курсе лекций выдающегося молодого профессора по имени Зигмунд Фрейд. Однако к нему было сложно попасть — к занятиям допускались только врачи и обладатели специальных карточек. Мой друг предложил записаться на курс к профессору Брюлю, также занимавшемуся проблемой полов, чтобы потом добраться до курса Фрейда.

Профессор Брюль оказался мужчиной преклонных лет. Слабым голосом он рассказывал нам о странных личностях — «урнингах»<sup>78</sup> и «лесбиянках». На его лекции приходили не менее необычные слушатели: кокетливые женоподобные мужчины и заметно маскулинные женщины с низким голосом. Многие из увиденного я поняла гораздо позже, после знакомства с Зигмундом Фрейдом. В нём сплелись воедино простота, искренность и гениальный ум; казалось, будто тебя выводят на дневной свет из тёмного подвала. Впервые я осознала, как пол способен повлиять на действия личности. Фрейд помог мне оценить себя и свои потребности; я уверилась в том, что только злонамеренные люди могут считать развратной такую великую и прекрасную личность, как Фрейда.

Мои разносторонние интересы занимали львиную долю свободного времени. Я успевала посещать множество спектаклей и опер. Впервые я полностью услышала вагнеровское «Кольцо нибелунга». Его музыка всегда трогала мою душу, а волшебные голоса, превосходные оркестры и дирижёры делали венские представления поистине захватывающими. Мне было тяжело выдержать концерт Вагнера под управлением его сына. Зигфрид Вагнер дирижировал свою композицию «Бездельник» — надо заметить, и без того весьма посредственную, — но когда дело дошло до произведения его знаменитого отца, бездарность отпрыска проявилась во всей красе. Концерт я покидала с чувством отвращения.

Да, Вена подарила мне немало новых впечатлений. Одним из самых ярких была Элеонора Дузе в роли Магды («Родина» Зудермана). Пьеса стала новым событием в драматургии, но актёрский вклад Дузе в неё превосходил талант Зудермана и придавал его работе подлинную драматическую глубину. Несколькими годами раньше в Нью-Хейвене я видела Сару Бернар — играли «Федору». Её голос, движения, энергия были откровением; тогда я подумала, что никто не сможет достичь таких высот — но Элеонора Дузе с лёгкостью преодолела их. Она была слишком гениальна, чтобы ей подражали, и по-настоящему проживала, а не играла всё происходящее на сцене. Ни одного резкого жеста, лишнего движения, заученной интонации... Её глубокий, вибрирующий голос держал нерв спектакля, а выразительные черты лица отражали всё богатство эмоций. Элеонора Дузе передала

каждый нюанс бурной натуры Магды, сохранив цельность собственного характера. Её искусство стремилось к небесам, будучи при этом звездой на небосклоне земной жизни.

Пришло время экзаменов, и я не могла больше покоряться соблазнам очаровательного города на Дунае. Вскоре я стала гордой обладательницей двух дипломов — по акушерскому делу и сестринскому; можно было возвращаться домой. Но мне была ненавистна даже мысль об отъезде из Вены — столько нового она мне дала. Так прошло ещё две недели: всё это время я встречалась с товарищами и многое узнала об анархическом движении Австрии. Прошло несколько небольших собраний, где я рассказывала об американском опыте.

Федя послал мне обратный билет второго класса и сто долларов на одежду. Я предпочла вложить деньги в любимые книги и приобрела собрания сочинений новых творцов литературной истории — в первую очередь драматургов. Никакие предметы гардероба не принесли бы мне столько радости, как эта сокровенная маленькая библиотека. Я даже не решилась провезти её в дорожном сундуке и положила книги в свой чемодан.

Французский лайнер приближался к порту Нью-Йорка; я мгновенно заметила в толпе Эда. Он стоял возле сходней с букетом роз, но не узнавал меня. Был дождливый вечер, и я подумала, что всему виной туман или моя широкополая шляпа... Впрочем, я ведь сильно похудела! Ещё пару минут я наблюдала, как Эд всматривается в пассажиров, но едва заметила, как он начинает волноваться, подкралась сзади и закрыла его глаза руками. Он быстро обернулся, крепко прижал меня к груди и воскликнул дрожащим голосом: «Что случилось с моим Schatz? Ты больна?» «Глупости! — ответила я. — Я всего лишь выросла духовно. Пойдём домой, я тебе всё расскажу».

Эд писал мне, что сменил наши покои на более удобную квартиру, а Федя помог её украсить. Но то, что я увидела, в разы превысило мои ожидания. Новое жильё располагалось в старомодном особняке на «немецкой» части 11-й улицы. Большая кухня с окнами на сад, просторная передняя с высокими потолками и милой старой мебелью из красного дерева... На стенах красовались редкие гравюры, на полках уже были расставлены мои книги. У этого места была своя атмосфера и стиль.

За собственноручно приготовленным ужином Эд играл роль главы семьи; Юстус Шваб послал нам бутылку вина. Эд сказал, что разбогател: теперь он зарабатывает пятнадцать долларов в неделю! Потом он рассказал новости от наших друзей — Феди, Юстуса, Клауса и, конечно же, Саши. За границей я не могла связываться с ним напрямую, нашим посредником был Эд, и письма разделяли тревожные задержки. Я была вне себя от радости, узнав, что меня ждут письма от моего храброго мальчика. Особенно приятным было, что одно послание пришло прямо в день моего приезда! Сашино письмо, как и всегда, было пронизано его духом — там не было жалоб на жизнь, но читался неподдельный интерес ко всему, что происходит на свободе, к моей работе, впечатлениям от Вены. «Европа так далеко, а в Америке ты ко мне ближе. Может, я больше и не увижу тебя, но, если ты приедешь с лекциями в Питтсбург, я буду рад — хорошо бы почувствовать, что мы в одном городе».

Ещё перед отъездом в Европу наш друг Исаак Гурвич предложил помочь Саше и обратиться с жалобой в Верховный суд, ссылаясь на то, что суд проводился незаконно. Потратив немало усилий и средств, мы раздобыли протокол судебного заседания. Выяснилось, что законных оснований к пересмотру дела нет — защищая самого себя, Саша потерял право протестовать в суде, и теперь ничего нельзя было обжаловать.

Пока я была в Вене, наши американские друзья предложили подать заявление в Совет по помилованию — как анархистка, я выступила против этого шага и даже не упомянула о нём в очередном письме. В моё отсутствие Сашу регулярно сажали в карцер и держали в одиночной камере; его здоровье основательно расшаталось. Я стала думать, что твёрдые принципы преступны, если доставляют муки другому. Пришлось, отбросив все сомнения, умолять Сашу обратиться в Совет по помилованию. Сашин ответ показал, как он задет. Он писал, что его поступок — сам по себе оправдание, это осознанный протест против несправедливости капиталистической системы. Не предаю ли я невольно идеалы революции, раз готова на такой шаг? Саша списал всё на моё волнение за его судьбу, но в любом случае не желал, чтобы я поступалась принципами.

Эд выслал мне это письмо в Вену. Я расстроилась, но не опустила руки: пенсильванские друзья рассказали, что в их штате личная подпись просителя помилования необязательна. Я снова написала Саше, упирая на то, что его жизнь и свобода слишком ценны для Дела, чтобы отказаться от подачи заявления. Величайшие революционеры, обречённые на долгие сроки, писали прошения, чтобы выйти на свободу. Да, для себя самого он считает это отступлением от правил, но пусть всем займутся наши друзья — ради меня! Я больше не могла выносить мыслей о том, что он очутился в тюрьме за поступок, в подготовку которого я была вовлечена почти так же, как и он. В ответном письме он повторил, что не верит в Совет по помилованию, но друзьям на свободе виднее — он больше не будет протестовать. В конце Саша добавил, что хочет обсудить и кое-что ещё — может, Эмма Ли получит разрешение на свидание?

Эмма переехала в Питтсбург и работала там кастеляншей в отеле. Она начала переписку с тюремным капелланом, уговаривая его восстановить Сашино право на свидания. Через несколько месяцев капеллан добился, чтобы Эмме Ли выслали разрешение. Но, когда она пришла в тюрьму, начальник отказал ей в свидании. «Единственный начальник здесь — я, а не капеллан, — сказал он Эмме. — Пока я здесь главный, никто не увидится с заключённым А-7».

Эмма Ли посчитала, что любые возражения только навредят перспективе освобождения Саши. Она контролировала себя лучше, чем я в тот судьбоносный день в магазине инспектора Рида. Мы продолжали жить надеждой, что вырвем Сашу из лап врага.

Я написала Вольтарине де Клер, напомнив, что она обещала помогать нам. Она тотчас откликнулась и опубликовала публичный призыв в Сашину защиту, но отправила его Эду, а не мне. На мгновение я разозлилась, но ярость улетучилась, едва я прочитала текст — стихотворение в прозе, волнующей силы и красоты. Я послала Вольтарине свою благодарность, не упоминая о прошлом недоразумении. Ответа не последовало.

Началась кампания за помилование, наши усилия поддерживали все радикальные круги. Выдающегося питтсбургского адвоката заинтересовала эта история, и он согласился передать дело в пенсильванский Совет по помилованию.

Мы трудились не покладая рук — всё озарял свет надежды. Саша тоже оживился; перед ним словно приоткрылась вся полнота жизни. Но наша радость была недолгой — Совет отказался рассматривать заявление. Беркману нужно было отсидеть первые семь лет за «основное преступление», и только после этого мы сможем поднять вопрос о снятии прочих пунктов обвинения. Очевидно, что никто не осмеливался пойти против Карнеги с Фриком.

Я была раздавлена и с ужасом думала, что ответить Саше. Какие слова подобрать, чтобы он пережил столь жестокий удар? «Саша достаточно стойкий, чтобы дотянуть до 1897 года», — утешал меня Эд, но тщетно. Я потеряла надежду на сокращение срока. Угроза инспектора Рида — «Он не выйдет отсюда живым!» — стояла у меня в ушах. Пока я собиралась с духом, чтобы написать Саше, он сам прислал письмо, где сообщал, что несильно надеялся на удачный исход дела и потому не очень расстроился. Действия Совета, по мнению Саши, лишний раз выявили близкие отношения американского правительства и плутократии, как и предполагали анархисты. Обещание Совета пересмотреть заявление в 1897 году — просто трюк, чтобы ввести общественность в заблуждение и измотать друзей. Саша был уверен, что чернорабочие сталелитейки никогда не выступят в его защиту, но это не имеет значения — он пережил первые четыре года и намерен бороться дальше. «Наши враги не получают возможность сказать, что сломали меня», — писал он. Саша горячо надеялся на поддержку от меня и друзей, старых и новых. Он призывал меня не отчаиваться и продолжать работу на благо Дела. Мой Саша, мой милый Саша! Он был не просто «стойким», как говорил Эд — он был оплотом мощи. С того дня, как паровой монстр вырвал любимого из моих рук на вокзале Балтимор и Огайо, Саша был для меня словно сверкающий метеор на тёмном небосводе ничтожных интересов, личных переживаний, обессиливающей рутины будней. Он был как белый свет — очищал душу и вселял благоговение перед своей отрешённостью от человеческих слабостей.

---

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 17 апреля 2025 03:45:59

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 17 апреля 2025 03:47:00